

Библиотека любителей русской классики

Б.А. Дрозд

БЕЗ ЛЮБВИ ВСЬ МИР - ПУСТЫНЯ



Борис Дрозд

Без любви весь мир – пустыня

«Издательские решения»

Дрозд Б. Д.

Без любви весь мир – пустыня / Б. Д. Дрозд — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-931689-9

В книге рассматривается психологическая драма великого русского писателя. В чем она — читатель узнает из этого повествования. Книга читается на одном дыхании, захватывает читателя с первых же страниц.

ISBN 978-5-44-931689-9

© Дрозд Б. Д.
© Издательские решения

Содержание

Глава I	6
Глава II	11
Глава III	19
Глава IV	25
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Без любви весь мир – пустыня

Борис Дмитриевич Дрозд

© Борис Дмитриевич Дрозд, 2018

ISBN 978-5-4493-1689-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава I

Вместо предисловия

Из истории жизни одного старшего садовника

В некое время существовал на земле сад. Он рос и создавался тысячи лет и, в сущности, мало менялся. Одни растения умирали, другие нарождались и занимали в саду их место, сменяли и садовники друг друга. Все они любовно ухаживали за садом, строго следя за тем, чтобы общий облик сада оставался неизменным, так как все садовники соблюдали преемственность.

В саду выделялись три огромных дерева, а также росли сотни деревьев меньшего размера и кустарник. Это сад издавал благоуханный аромат вокруг, благодаря чему существовало все живое вокруг, подпитываясь от этого энергией и силой.

Огромные деревья назывались так – Вера, Надежда, Любовь – три главных дерева жизни, а деревца поменьше олицетворяли мечты, идеалы, стремления, идеи, человеческую деятельность и многое другое, – все великое разнообразие жизни.

Но вот как-то умер старый садовник и вместо него был назначен новый молодой садовник, красивый господин, интеллигентный, с бородкой, высокого роста, очень обаятельный и образованный. Обследовав сад, он поставил ему диагноз:

– Боже мой, какая скука этот ваш сад! Какою невыносимой скукой и пошлостью веет от него! Какое ужасное однообразие и рутина! Нужно обновление! Ничего веселого и радостного! Нужны новые формы, новые растения.

– Что вы, господин садовник? Так люди жили века, тысячелетия.

– Надо подвергнуть сад тщательному анализу! Нужно разрушить это вековое, тысячелетнее оцепенение! Выкорчевать эти дряхлые отживающие виды, эти старые, неудобные формы!

– Откуда он взялся, этот новый садовник? – спрашивали люди друг у друга.

Никто не знал. И посетовали тогда люди на новое время, сокрушающее все традиции.

А садовник, как оказалось, был еще и литератором, и доктором и печатался в журналах.

И вот возник у садовника замысел своего собственного сада. И взялся он перестраивать старый сад на свой вкус.

Господин этот вообще был человек недоверчивый, крайне скептический и настроенный ко всему критически. А главное, ему везде привиделась скука.

– Скука, скука, скука! – все твердил он, блуждая по саду. – Одна лишь скука кругом!

– Поезжай за границу. На воды, – советовали ему.

– И там скука! Почитайте Тургенева или Лермонтова.

– Тогда ступай в храм к батюшке и покаяйся...

– Я не верю в бога. Не верю и в покаяние. У меня в детстве отбили любовь к религии.

И вот однажды садовник сказал людям:

– Я посажу свои растения. Ваши деревья и кустарники никуда не годятся. Они отравляют воздух и окружающий мир иллюзиями, а иллюзии мешают реальности, затуманивают человеческий мозг, мешают человеку жить и затрудняют ему путь к счастью, правде и свободе. Нужно освободить мир от иллюзий и начать это нужно с сада. И потом слишком много солнца и света в саду. В саду должны быть сумерки, одни только сумерки.

– Но позвольте, господин, – возразили ему люди, – так жили люди тысячи лет. Сад не может без света и солнца, он распространяет благоухание, вокруг поют птицы, люди и насекомые довольны. Все садовники тщательно берегли сад и ухаживали за ним.

– Благоухание есть иллюзия, – в свою очередь возразил садовник, а иллюзии рожают ложные надежды и пустые мечтания. Они отвращают человека от правды и уводят от истины.

Наш садовник был новатор и в какой-то мере экспериментатор, не связанный никакими общими традициями со старыми садовниками и какими либо обязательствами перед другими поколениями людей.

– Я подвергну сад тщательному анализу, и если эти деревья и весь сад отравляют воздух иллюзиями, я велю срубить их.

– Чего вы хотите, господин?

– Я хочу правды и истины, пусть жестокой, беспощадной и безжалостной, но правды.

– Какой правды? – возражали ему. – Разве жизнь, благоухание и эта радость, которая изливается в мир от сада, – разве это не есть правда, и самая что ни есть главная истина?

– Я не знаю. Дело в том, что я ничему не верю. Я принципиально не верю. Я все проверяю только своим умом и опытом. Я хочу знать истину конечного устройства всех вещей.

– Но они в этом кругу известны. Нечего огород городить. Вот сад, он дает благоухание, счастье, радость, надежду, веру, любовь...

– Я не верю.

И велит садовник подвергнуть жизнь сада критическому анализу и поставить этой жизни диагноз:

1. Подвергнуть анализу первое большое дерево – Веру. Результат – Вера – это химера и иллюзия, обман людей. Срубить дерево.

2. Подвергнуть анализу другое большое дерево – Надежду. Выясняется, что Надежда – это обратная сторона Веры, другая сторона медали. Срубить и ее.

3. Любовь. Тут садовник очень долго колебался и даже мучился. Не легко ему далось решение срубить это дерево, благоуханным ароматом которого и ему так хотелось... нет, так жаждалось! – подышать. Но... этот аромат любви он так и не почувствовал и решил садовник, что и третье дерево подлежит уничтожению.

И вот после гибели трех стержневых деревьев сотни других деревьев и растений либо тоже были вырублены, либо просто погибли, потеряв стержневую опору.

Постепенно в саду стало меньше света и солнца, а вскоре и вообще наступили сумерки. Сад превратился в какую-то странную, искусственную оранжерею.

И вот однажды утром люди проснулись и увидели, что на месте прежнего сада растут какие-то странные, корявые, сухие, низкорослые и однотипные растения. Садовник тоже вышел в сад и, увидев незнакомые растения, смутился и озадачился, хотя и не показал виду.

– Что это? – закричали люди вокруг него. – Что ты здесь насадил? Какой отвратительный кустарник!

– Я и сам не знаю, что это такое, – сказал садовник. – Срубая ваши иллюзорные деревья, я жаждал только правды и истины, я не ведал конечного результата...

Позвали главного ботаника. И когда он пришел, то спросили его:

– Что это за растение?

– Гм, это редкое, но очень гнусное растение. Оно убивает все живое вокруг себя. Тот, кто дышит воздухом рядом с ним, тот лишается надежд. Он будет лишен любви и веры. Его ожидают в жизни бессилие, бесплодие и полная безысходность и безнадежность. Любовь обойдет его стороной. Век того человека будет скоротечен. Это растение способствует развитию неизлечимых болезней.

– Как называется эта гадость?! – в ужасе и в нетерпении закричали люди.

– Это растение называется меланхолией.

– Вели срубить эти свои гадкие растения! – завопили люди. – Мы не хотим рядом с ними жить! Вели срубить или мы уходим отсюда.

– Как хотите, – ответил садовник. – Вы можете уходить, я остаюсь.

– Ты безумец! Ведь ты скоро умрешь! Ты отравишься этими растениями! Взгляни на себя – ты уже болен, одумайся!

– Нет, – сказал непреклонно садовник. – Эти кусты – моя правда, моя истина. Если веры и надежды нет, то это растение будет моей верой. Я создам из них свой сад, благоуханный и ароматный, придет время, и люди его поймут и полюбят. И будут дышать воздухом моего сада. Я насажу его на всей земле и буду знаменит. Ведь эти растения похожи на вишневые деревья, пусть это будет вишневый сад...

– Как можно полюбить то, что несет смерть и разрушение!

– Вот увидите, что я окажусь прав. Смерть есть обратная сторона жизни, а без разрушения не бывает и созидания.

Надо сказать, что садовник был очень трудолюбив и плодовит. И вот после селекции растения садовника стали давать меланхолические плоды, которые садовник называл по – разному: «Скучная история», «Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры». И в самом деле, это были красивые, чрезвычайно привлекательные плоды. Вот только здоровье садовника катастрофически ухудшалось, как и предсказывал главный ботаник.

Прошло чуть больше десяти лет.

Однажды в сад, о котором шла странная молва вокруг, понаехало много гостей, которые никогда здесь не бывали. Садовник, кашляющий и опирающийся на трость, уже неспособен был водить гостей и показывать им свои владения, и он велел показать сад своему помощнику. И пошли гости гулять по саду.

В саду росло только однотипные растения, их было, где больше, где меньше. И было очень много людей, но совсем не видно было радостных, улыбающихся, смеющихся людей. Зато было полно хмурых, на взгляд гостей, несчастных, несчастливых, страдающих людей. Вот двое немолодых людей ведут между собой разговор:

– По правде сказать, во всем уезде было только двое порядочных людей: ты и я. Но эта пошлая, уездная жизнь изломала нас с тобой в пух и прах...

– Я жить хочу! – горячился его спутник. – Я любить хочу! Я еще не любил!

– Э-э, брось! Захотел любви в сорок семь лет! Да ты спятил, что ли? У нас с тобой никаких шансов, никаких надежд!

– Нет! Я не хочу, не хочу! Надо вырваться отсюда!

– Перестань! Смирись! У меня, по правде говоря, у самого никакого огонька впереди, никакого просвета... Испошлился я, испошлились мы с тобой...

– Кто эти двое? – спрашивают гости.

– Это дядя Ваня и доктор Астров. Разве вы не знаете? Их садовник обрек на медленную, мучительную смерть, лишив их в жизни последних надежд...

– Как это ужасно! Лучше бы он убил их!

– Гм, иногда действительно не знаешь, что хуже – умереть или жить без надежд, – проговорил помощник, который не любил своего начальника.

– А вот в углу плачут три какие-то молодые женщины.

– В Москву! В Москву! – твердят они. – Мы хотим уехать в Москву!

– Кто это? – спрашивают гости.

– Это три сестры, по происхождению дворянки. Они потеряли отца, мать, брата-мечтателя, притом, дурака, который привел в их общий дом жену-стерву, не из их круга, и она их выжила оттуда. Вдобавок ко всему, у одной из них убили жениха...

– Бедненькие! Что же с ними будет?

– Они в Москву хотят уехать, там их родина.

– Ну и что?

– Садовник не велит. Пусть, – говорит, – живут здесь. Для коллекции.

Увидев гостей, двое жителей сада вдруг завопили наперебой:

– Выпустите нас отсюда! Выпустите!

Еще один, похожий на сумасшедшего, вдруг бросился к гостям.

– Садовника! Немедленно позовите садовника! – требовательно закричал он.
– Не положено, – ответил ему помощник. – И не заводите беспорядков.
– Негодяи! Насильники! – вопил тот, похожий на сумасшедшего. – Вы ответите на том свете перед Богом!

В это время показался и сам старший садовник, все-таки, несмотря на нездоровье, вышедший прогуляться по своему саду. Сумасшедший, увидев садовника, бросился к нему и закричал:

– А-а, садовник пришел! Господа, давить эту гадину!
– За что?
– Ты оставил нас без надежд. Ты оставил нас без солнца и света! Что ты наделал? Ты убил нас! Дай нам света, дай нам надежд!
– Как я могу вам дать то, чего у меня самого нет, – отвечал садовник.
– Тогда выпусти нас отсюда, выпусти!
– Не могу.
– Но почему?
– Идите, – пожал плечами садовник. – На первом же углу вас схватят прохожие и притащат обратно.
– Это на каком, спрашивается, основании?
– А на том самом, что если существуют сумасшедшие дома, то должен же в них кто-то сидеть. И не я это придумал.
– Заколдованный круг! Это какой-то заколдованный круг! – в отчаянии, ломая руки, заговорил похожий на сумасшедшего мужчина. – Что же нам делать?

Садовник пожал плечами.

В саду – три двери. На одной из них надпись: *Вход в страну безнадежности*. На другой надпись – вход в страну старости. На третьей – вход в страну смерти. —

– Пожалуйте сюда, – проговорил садовник.

Гости идут в дверь, которая ведет в страну старости. Тут они видят, как по саду ходят старики. Один из них бубнит себе под нос, сидя на скамеечке и шурша газетой:

– Тарарабумбия, сижу на тумбе я... Эх, старость, будь она проклята! Все на свете забыл! Решительно все! Людей лечу, а ничего не знаю, ничего не помню.

– Кто это?

– Это Чебутыкин, старый доктор. Тень, а не человек.

– Какой странный, глупый старик!

– Типичный плод фантазии садовника. У его стариков вообще никаких шансов.

А вот они видят, как плачет другой старик.

– А это кто?

– Это Николай Степанович, знаменитый ученый, профессор медицины.

– Отчего он плачет?

– Жить ему осталось немного, а жить страшно хочется. Положение его безнадежно.

Гостям в спешке ретировались и захотелось им войти в ту дверь, где надпись: «вход в страну смерти». Сколько же здесь могил! За 25 лет садовник точно вел военную кампанию, отстаивал независимость родины. Батюшки мои, сколько же среди них детей, младенцев! И среди них выделялись три могилы.

– Что это за могилы? Что за люди в них лежат?

– Это самоубийцы.

Садовник и в дальнейшем продолжал болеть и чахнуть на глазах. За десять лет из цветущего молодого человека он превратился в старика, отравленный и отравляемый своим садом. Вскоре он умер. Ему исполнилось только сорок четыре года.

Про садовника говорили, что он умер от чахотки. Однако другие врачи уверяли, что после сорока лет от чахотки не умирают. И он умер не от чахотки, а от тоски.

Но что же в самом деле было причиной этой преждевременной старости и смерти? Какую энергию, какие мысли и настроения посылал этот человек в космос?

И, наконец, откуда же он взялся, этот странный доктор, а потом литератор-садовник? Где истоки его жизни и странного, самоубийственного и разрушительного мировоззрения?

В каком городе он родился и что это был за город?

Глава II

В детстве у него была «Мамаша»

Когда пишут о А.П.Чехове, обыкновенно много пишут о его детстве, горьком и несчастном. И это справедливо. Общеизвестно, что детство – залог всей дальнейшей жизни, характера и судьбы человека.

Я не буду касаться подробно общеизвестных вещей о детстве А.П.Чехова, о котором много написано в разных хороших книгах о нем. Я остановлюсь лишь на некоторых фактах его биографии и напомним их.

Родился будущий садовник-литератор в городе Таганроге в 1860 году в семье, принадлежавшей к купеческому сословию. «В 1844 году из глухой воронежской деревни в Таганрог приехал вместе с семьей дед А.П.Чехова – Егор Михайлович Чехов, бывший крепостной крестьянин, выкупившийся на волю. Человек предприимчивый и целеустремленный, он пристроил к делу всех своих сыновей, Михаила, Митрофана и Павла, который устроился „мальчиком“ на службу к таганрогскому купцу и городскому голове Кобылину. Дед вскоре купил в Таганроге домовладение и уехал служить управляющим обширными имениями графа Платова в слободу Крепкую под Таганрогом.» (Из книги Дымова о Чехове).

В семье, кроме Антона, было еще пятеро детей: старшие братья Александр и Николай, и младшие – сестра Маша, братья Иван и Михаил.

Сам писатель вспоминал свое детство так (со слов Леонтьева-Щеглова): «Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, то оно представляется мне довольно мрачным. Религии у меня теперь нет. Знаете, когда, бывало, я и два мои брата среди церкви пели трио „Да исправится“ или же „Архангельский глас“, на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям, мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками».

В письме к брату Александру от 2 января 1889 года Антон писал: «деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспоминать». От 4 апреля 1893 года: «Детство отравлено у нас ужасами».

Главным «отравителем» детства Антона был отец – Павел Егорович.

Немирович – Данченко вспоминает (со слов Антона Павловича): «Знаешь, я никогда не мог простить отцу, что он меня в детстве сек». («Чехов в воспоминаниях современников»).

Доминантой детства Антона было – несчастье, несвобода, отцовский деспотизм, ненависть к греческой школе и к греческому языку, и с детских лет, как ярмо, как тяжелое бремя на детской душе – ненавистная торговая лавка отца.

Брат Антона Павловича Александр Павлович отмечает: «Ребенком он был несчастный человек». (Да разве потом можно стать счастливее? – Б.Д.).

И далее: «Антон только издали видел счастливых детей: сам он не имел возможности ни побегать, ни порезвиться, ни пошалить».

Шутка ли сказать, как смотрел на эти шалости и резвости отец Чехова, хуже инквизитора. «На всем лежал отцовский запрет, – пишет Александр Чехов. – Бегать нельзя, потому что «сапоги побьешь», шалить запрещалось оттого, что «балуются только уличные мальчишки», играть с товарищами – пустая и вредная забава, потому что «товарищи бог знает, чему научат». «Нечего баклуши бить во дворе, ступай лучше в лавку да смотри там хорошенько; приучайся к торговле! В лавке, по крайней мере, отцу помогаешь!» – слышал постоянно Антон.

Брат Александр описывает далее такую сцену:

«-Антоша, бери ключи и ступай с Андрюшкой и Гаврюшкой отпирать лавку! А я к поздней обедне пойду! – отдаст приказ Павел Егорович.

Мальчик с кислою миною поднимается из-за стола, за которым пил чай, и без возражений идет выполнять приказание, хотя ему и очень грустно. Он еще вчера условился с товарищем-соседом прийти к нему играть в мяч.

– Павел Егорович, пожалей ты ребенка! – вступается Евгения Яковлевна. – Ведь ты его чуть свет разбудил к ранней обедне... Он обедню выстоял, потом акафист выстоял... Ты ему даже чаю не дал напиться как следует... Он устал...

– Пускай приучается, – отвечал Павел Егорович. – Я тружусь, пускай и он трудится... Дети должны помогать отцу.

– Он и так всю неделю в лавке сидит. Дай ему хоть в воскресенье отдохнуть.

– Вместо отдыха он баловаться с уличными мальчишками начнет... А если в лавке никого из детей не будет, так Андрюшка с Гаврюшкой начнут пряники и конфеты лопать, а то и воровать начнут... Сама знаешь, без хозяина товар плачет...

Против этого аргумента даже Евгения Яковлевна ничего возразить не может, и ее доброе материнское сердце отступает на второй план.»

Еще одно свидетельство Александра Чехова из детства братьев: отец Чеховых открыл в городе рядом с недавно построенным железнодорожным вокзалом новую лавку. Кого туда посадить? Естественно, только детей – Сашу и Антошу. Узнав это, Антон с отчаянием воскликнул:

«-Господи, что мы за несчастный народ! Товарищи на каникулах отдыхают, ходят купаться, удить рыбу, бывают по вечерам в казенном саду и слушают музыку, а мы – как каторжные...»

Павел Егорович, по словам Александра, как-то сказал Евгении Яковлевне:

«-Вот, слава богу, уже и дети помогают! Если торговля пойдет хорошо, то возьму я их из гимназии и оставлю в лавке...

– Боже сохрани! – всплеснула руками Евгения Яковлевна. – Ни за что я не позволю взять детей из гимназии! Богу буду на тебя жаловаться...»

Торговля Павла Егоровича с треском провалилась. Но если бы успешно пошла, то Павел Егорович осуществил бы свое намерение – взял бы сыновей из гимназии и оставил бы в лавке.

Поэтому, чтобы понять Чехова, истоки его мировоззрения, надо всякий раз возвращаться в его родной город, вернее, в родительский дом и по-иному взглянуть на некоторые, быть может, общеизвестные вещи. И, прежде всего, по иному оценить роль в жизни Антона его матери, Евгении Яковлевны, добрейшего существа, по словам и родственников, и всех, кто бывал в доме Чеховых. Антон, по их же словам, просто боготворил свою мать. Какой след она оставила в его душе? Могла ли она защитить своих детей от тупого деспотизма отца? Какой образ матери отложился в детской психике?

Вероятно, Евгения Яковлевна действительно была добрейшим существом.

Тогда откуда же это «мамаша» в его отношении к матери? Грубое, мещански-купеческое словечко? Оно, конечно же, из его детства. Так они, братья и их окружение, называли своих матерей – «мамаша». Но ведь он, Антон, многое, если не все, преодолел в себе, выдал и выдавливал из себя раба, в том числе и такие вот словечки из себя выдавливал.

Отец Чехова – деспот. Антон никогда и не любил его. Не мог простить ему того, что он сек его розгами, бил.

А мать? Какова ее роль? Как он сам оценивал ее роль в его жизни, главным образом в детстве? Что думал он о ней, любил ли ее? Воспоминания родственников полны идиллических картин о любви Антона к матери, о ее заступничестве в детстве перед отцом. Известно высказывание Чехова о своих родителях: «Родители единственные для меня люди, для которых я ничего не пожалею»...

В действительности, это, наверное, так. Но ведь было же что-то такое, тайное, скрываемое им от всех, чего он никому никогда не поверял, что повлияло на его психику и душевный склад, и в чем он видел «вину» своей матери!..

Ни за что я не поверю в то, что можно любить мать, боготворить ее, но называть «мамаша». Это «мамаша» чего-то стоит, не мама, мамочка, мамуля, а «мамаша» – грубо, почужому, а тем более без любви. Я понимаю, что Антон сторонился сентиментальности, чурался высокопарных слов, а тем более выказывать свои чувства посторонним, пусть даже близким родственникам. Но.

Любящий сын не назовет свою мать «мамашей», даже и представить себе такое невозможно. Язык не повернется.

Что же за этим стоит? Обратимся к текстам, к повестям и рассказам, где есть отношения «мать-сын». Чтобы лучше понять Чехова и его психологическое, подсознательное отношение к матери, надо, прежде всего, вернуться в его детство и взять повесть «Степь» и маленького Егорушку.

Егорушка из повести «Степь» (Чехов в детстве), уехав из дома, ни разу не вспоминает о матери. Это же совершенно невозможно, чтобы 9-летний мальчик, впервые оторвавшись от дома, не вспомнил ни разу мать, не затосковал по дому, по матери. И ему не захотелось домой, к матери. И если она иногда фигурирует в его воспоминаниях, то как «мамаша» – без детской теплоты, без тоски и жажды материнского крылышка, да и вспоминается мать в мало-значущих неважных эпизодах.

Это очень симптоматично. Есть две знаменательные сцены в этом путешествии Егорушки по степи. Обе касаются женщин, встреченных ему на пути. Встреча на постоялом дворе с графиней Драницкой, оставившей глубокий след в душе Егорушки и встреча с влюбленным в свою жену хохлом, рассказавшим компании обозчиков о своей любви к жене.

«Егорушка протер глаза. Посреди комнаты стояло действительно сиятельство в образе молодой, очень красивой и полной женщины в черном платье и в соломенной шляпе. Прежде чем Егорушка успел разглядеть ее черты, ему почему-то пришел на память тот одинокий, стройный тополь, который он видел днем на холме.» И далее: «...Вдруг, совсем неожиданно, на полвершка от своих глаз, Егорушка увидел черные бархатные брови, большие карие глаза и выхоленные женские щеки с ямочками, от которых, как лучи от солнца, по всему лицу разливалась улыбка. Чем-то великолепно запахло»... «...И дама крепко поцеловала Егорушку в обе щеки, и он улыбнулся, и, думая, что спит, закрыл глаза, Дверной блок завизжал, и послышались торопливые шаги: кто входил и выходил...»

Случайно обласканный случайной женщиной, Егорушка находится долгое время под этим впечатлением, до того даже что хотел бы на ней жениться, «если бы это не было так совестно». И хочется ему думать только об этой женщине, которая его так случайно обласкала и тем самым затронула его сокровенные сердечные и душевные струны. Ясное дело, что ласка женщины – что-то невиданное в жизни мальчика, чрезвычайное, поражающее. Ласка – вот чего ему не досталось. А потребность в ней невероятно сильна в нежном мальчике. Впрочем, в ком из живых существ она не сильна? Даже собаки, кошки, другие живые существа нуждаются в ней.

Но этого в жизни маленького Егорушки не было и нет, оттого эта ласка так и поразила его и затронула его душу и сердце. То, что должна была бы дать ему мать, то одним лишь прикосновением дала Егорушке графиня Драницкая. Вернее, не дала даже, а лишь напомнила о том, огромном благе быть любимым и обласканным женщиной. «Егорушке почему-то хотелось думать только о Варламове и графине, в особенности о последней». И далее: «Егорушкой тоже, как и всеми, овладела скука. Он пошел к своему возу, взобрался на тюк и лег. Глядел он на небо и думал о счастливом Константине и его жене. Зачем люди женятся? К чему на этом свете женщины? Егорушка задавал себе неясные вопросы и думал, что мужчине, наверное,

хорошо, если возле него постоянно живет ласковая, веселая и красивая женщина. Пришла ему на память почему-то графиня Драницкая, и он подумал, что с такой женщиной, вероятно, очень приятно жить; он, пожалуй, с удовольствием женился бы на ней, если бы это не было так совестно. Он вспомнил ее брови, зрачки, коляску, часы со всадником... Тихая, теплая ночь спускалась на него и шептала ему что-то на ухо, а ему казалось, что это красивая женщина склоняется к нему, с улыбкой глядит на него и хочет поцеловать...»

О матери же Егорушка думает так: мамаша. Это очень существенно для понимания чеховского подлинного психологического отношения к матери. Словно бы Егорушка (Чехов) – сирота, и та женщина, которую всякий мальчик вспоминал бы в первую очередь, уехав из дома впервые, – эта женщина, словно мачеха для него. Это совершенно ненормально и неестественно для 9-летнего мальчика, который к тому же уезжал из дома заплаканным, так как не хотел уезжать и как будто бы расставаться с домом, с матерью. Но в воспоминаниях Егорушки нет этого светлого, теплого, ласкового образа матери, который у всякого оторванного от дома мальчика должен был бы воскреснуть, явиться, особенно в тяжелые минуты, в минуты болезни, когда он лежал в жару и бредил... А болезнь Егорушки – это факт из биографии Чехова, простудившегося после купания в речке и лежавшего в горячке.

Да вот и сам Чехов свидетельствует об этом периоде своей жизни в письме к Тихонову: «Спасибо за ласковое слово и теплое участие. Меня маленького так мало ласкали, что я теперь, будучи взрослым, принимаю ласку как нечто непривычное, еще мало пережитое. Поэтому и сам хотел бы быть ласков с другими, да не умею: огрубел и ленив, хотя и знаю, что нашему брату без ласки никак быть невозможно».

Это уж точно: «нашему брату» без ласки быть никак невозможно. А кому возможно? В каком возрасте отсутствует эта потребность? Просто маленькие нуждаются в ней, ласке, сильнее и острее, чем взрослые, и это общеизвестно.

Пиша «Степь» в 28 лет, Чехов углубляется в свое детство, в воспоминания, напрягает свою память и оставляет читателю психологические «следы» своих отношений, вернее, своих чувств к родителям, в частности, к матери.

В повести Чехов делает маленького Егорушку действительным сиротой: у него нет отца. Без отца мальчик сирота. Сам же маленький Антон, а потом 28-летний писатель чувствует себя сиротой в душевном смысле. В детские годы маленький человек ощущает какой-то огромный диссонанс в своей жизни. В его жизни нет ласки, любви женщины, то есть материнской любви. И это – ущерб, первая трещина, появившаяся в душе маленького Антона. Ущерб, который с годами вырастает до размеров большой ущербности по отношению к женщине, к любви. Он сам это потом осознает вполне, а может, и не вполне, но он скажет потом об этом очень определенно, анализируя себя, свою душу и внутреннюю суть: «В моем мирозерцании не хватает большого куска, точно оно месяц на ущербе, и мне кажется, что этот ущерб может пополнить только любовь».

Он определил свое состояние очень точно и образно. Нет любви. А без любви жизнь ущербна и мирозерцание ущербное.

Из этого психологического чувства вырастет потом другой, более старший герой, но тоже сирота в душевном смысле – Константин Треплев из «Чайки».

В повести «Три года» есть разговор двух братьев Лаптевых – Алексея и Федора:

– Какой там именитый род! – проговорил Лаптев (Алексей.-Б.Д.), сдерживая раздражение. – Именитый род! Деда нашего помещики драли и каждый последний чиновник бил в морду. Отца драл дед, меня и тебя отец. Что нам с тобой дал твой именитый род? Какую кровь, и какие нервы мы получили в наследство? Ты вот уже почти три года рассуждаешь, как дьячок, говоришь всякий вздор, и вот написал, – ведь это холопский бред! А я, а я? Посмотри на меня... Ни гибкости, ни смелости, ни сильной воли; я боюсь за каждый свой шаг, точно меня выпорют, я робею перед ничтожествами, идиотами, скотами, стоящими неизмеримо ниже

меня умственно и нравственно; я боюсь дворников, швейцаров, городских, жандармов, я всех боюсь, потому что я родился от затравленной матери, с детства я забит и запуган!.. Мы с тобой хорошо сделаем, если не будем иметь детей!»

В этом отрывке – отголоски детства братьев Чеховых, личные ноты, автобиографические мотивы. А. Чехов строг, суров, беспощаден к себе, к своему детству, к родителям. Вероятно, вспоминая детство, анализируя себя, он находил недостатки в себе, так сказать, атавистические, доставшиеся ему в наследство от родителей, и вероятно, с болью и горечью думал о том, что он родился от затравленной матери, боявшейся своего мужа, то есть Павла Егоровича. Она не могла защитить их, своих детей от его деспотизма и произвола, отстоять их, сделать их счастливыми, любимыми, защищенными. Хуже всего – не могла защитить от отцовской порки.

Александр Чехов свидетельствует: «В обиходе же Павла Егоровича оплеушины, подзатыльники и порка были явлением самым обыкновенным, и он широко применял эти исправительные меры и к собственным детям, и к хохлятам-лавочникам. Перед ним все трепетали и боялись его пуще огня. Евгения Яковлевна постоянно восставала против этого, но получала всегда один и тот же ответ:

– И меня так же учили, а я, как видишь, вышел в люди. За битого двух небитых дают. Оттого, что дурака поучишь – ничего худого, кроме пользы, не делается...»

Образ матери, ее характер и ее роль, но, быть может, скорее всего, ее судьба и этот страх перед своим мужем, Павлом Егоровичем, предопределили все последующее развитие Антона и как писателя и как философа, а в бытовом и личном отношении – как неудавшегося семьянина, боявшегося женитьбы, семьи, семейной жизни, о главное – не научившегося любить женщину. Тут нет преувеличения, нет тут и фатальности, просто чаще всего мы не придаем этому значения или придаем весьма недостаточное значение. Вероятно, есть род таких тонких, нежных, чрезвычайно ранимых душ (а он, несомненно, принадлежал к ним), зависимых от влияния женского начала, для которых женская любовь – это все. С женской любви начинается жизнь, без этой любви они формируются и растут в дурном, «неправильном» направлении, без нее они сохнут и чахнут и в конце концов погибают.

Матери закладывают в мальчиков многое. Мать – первая женщина, которая ласкает сына, будущего мужчину и тем самым формирует у него представление о женщине, а в будущем – взгляд на женщину, на брак. А главное, закладывает в мальчике и юноше умение любить женщину. Несчастливый брак его матери, который он косвенным образом отразил в повести «Три года», ее страх перед грубостью и деспотизмом ее мужа, ее зависимое, униженное положение сказалось на общей обстановке в семье и, несомненно, на его, Антона, душе. Скорее всего, в купеческих семьях не приняты были «нежности», проявляемые матерями, да и отцами, не в пример дворянским (вспомним, как сетует Алексей Лаптев, что отец не видел его полгода, обрадовался ему, но радости не выказал. Он и радости-то не выказал, что уж говорить о любви и ласке). Достаточно почитать «Детство» Л. Толстого. Сколько там любви к маленькому Николеньке! Мальчик рос в совершенной атмосфере любви. И у Бунина в «Жизни Арсеньева» то же самое.

В семье Чеховых много детей, нужда, постоянная занятость матери – тут как-то стирается, сходит на нет сила материнской любви. Или некогда, или она, любовь материнская к сыновьям, подавлена отцом, стыдится, спрятана глубоко и не знает, как себя проявить. Скорее всего, ведь и ее не ласкали, не выражали своей любви лаской – Павел Егорович наверняка был чужд такой, по его мнению, сентиментальности. Чехов в зрелости, в годы написания повести «Три года», думая о себе, своем детстве и родителях и обо всех отрицательных свойствах (как он считал) своего характера и натуры – робости, страхе перед жизнью, неуверенности в себе, – описал все это без всяких иллюзий. Тут он видел прямую «вину» родительской наследственности, отразившейся на нем. Под наследственностью он имел еще в виду отношения между родителями, повлиявшими на общую обстановку в семье.

Как мать закладывает в своего сына любовь, как учит любви – это, вероятно, тайна. Недостаток материнской любви или отсутствие матери вообще в жизни маленького человека со временем может успешно восполниться другими женщинами – тетками, старшими сестрами, бабушками или другими родственницами. С взрослением – вносится первой женщиной, – любимой, заполняющей эту пустоту безлюбивого детства. К примеру, в жизни Льва Толстого, как известно, осиротевшего в 2 года, была тетушка Татьяна Александровна Ергольская, заменившая ему мать. Сам Толстой отмечал, что она имела большое влияние на его жизнь. «Влияние это было, во-первых, в том, что она еще в детстве научила меня духовному наслаждению любви. Она не словами учила меня этому, а всем существом заражала меня любовью. Я видел, чувствовал, как хорошо ей было любить, и понял счастье любви. Это первое.»

Поэтому вспоминая свое горькое детство, свою затравленную, несчастную мать, Антон Чехов, вероятно, не находил в своей душе никакого другого слова. Отсюда это его «мамаша». Думая о матери, не мог он, вероятно, преодолеть чего-то такого – горького и мучительного – из своего детства, что связывалось в нем с ролью матери, чтобы называть ее простыми и естественными словами любящего сына: мама, мамуля, мамочка или, как в простонародье говорили, – маманя.

Отсюда у него в его произведениях все сыновья – несчастные, несчастливые люди – братья Лаптевы, Треплев, Володя из рассказа «Володя, Егорушка из «Степи», Иванов из пьесы «Иванов». Но всех перещеголял его дядя Ваня, отношение которого к матери, тама, иначе, как хамским и грубым и назвать нельзя. Только у такой «мамаши» и мог вырасти этот самый дядя Ваня – никчемный человек, обвиняющий в своих несчастьях других. (Об этом, кстати, как и о пьесах Чехова – в конце книги). А у лучших чеховских героев, которым он отдавал свои лучшие черты и факты жизненной биографии, героев жаждавших правды, красоты и истины, матери отсутствуют в жизни. У Мисаила Полознева, например из «Моей жизни». А магистр Коврин из «Черного монаха» и учитель Никитина из «Учителя словесности» не имеют ни отца, ни матери, то есть сироты в полном смысле. Если герой симпатичен автору, то матери в его жизни нет. Об отцах пишется только дурное, отрицательное, о матерях же чаще всего писать нечего. Они просто отсутствуют в жизнях героев.

Вернемся опять к повести «Три года». В ней Лаптев-отец всегда прав. Он мало того, что деспот, он – благодетель для всех, для своих детей, для служащих, родственников. Говорить о том, что он в чем-то неправ, бессмысленно. И лишь Юлия, жена Лаптева, своим очарованием убедила старшего Лаптева принять Сашеньку (дочь Нины), родившейся в незаконном браке. Отец уступил, но отнюдь не сознал своей неправоты. Кстати сказать, Павел Егорович тоже очень сурово и непримиримо относился к незаконнорожденным детям, по воспоминаниям брата Александра, который имел этих самых незаконнорожденных детей, так как жил в гражданском браке. И Павел Егорович не принимал детей Александра.

В повести «Три года» Чехов не вывел образа матери, он опускает изображение матери Лаптевых, не дает ее даже в воспоминаниях героев, кроме того, что она «затравленная», рожавшая детей в страхе. Герои – сироты с этой стороны, так же, как и Егорушка из «Степи». Герой повести Алексей Лаптев (и Чехов) анализируя себя, жизнь, «амбар», видит, отчего эта его «несчастность», какова в этом роль отца и «амбара», какой отрицательный отпечаток они наложили на жизнь семьи Лаптевых, на их общую «несчастность» – двух братьев и сестру Нину. Их мать умерла, а о ней ни слова нет в восприятии братьев и Нины.

Вот отрывок из повести, об отце Лаптевых: «Старик обрадовался сыну, но считал неприличным приласкать его и как-нибудь обнаружить свою радость».

Сам герой, не видя отца полгода, отмечает, что отец не приласкал его и не обнаружил радости. И героя охватило дурное настроение, так как это навеяло ему прошлое, когда его «секли и держали на постной пище; он знал, что мальчиков и теперь секут и разбивают им носы и что когда эти мальчишки вырастут, то сами тоже будут бить»...

Отец сек розгами даже сестру их, Нину, розгами и обходился с ней сурово.

И ни разу, ни одним словом Алексей не обмолвился о матери, точно ее не было в его детстве. Она не описана ни в авторском повествовании, ни в воспоминаниях братьев или сестры. Только раз Алексей вспомнил о ее затравленности в разговоре с Федором да еще в разговоре с Юлией, своей женой, где говорится о страхе матери перед отцом. В этом монологе слышатся отголоски его, чеховского, детства:

– Ты удивляешься, что у крупного, широкоплечего отца такие малорослые, слабогрудые дети, как я и Федор. Отец женился на моей матери, когда ему было сорок пять лет, а ей только семнадцать. Она бледнела и дрожала в его присутствии. Нина родилась первая, родилась от сравнительно здоровой матери и потому вышла лучше и крепче нас; я же и Федор были зачаты и рождены, когда мать была уже истощена постоянным страхом. Я помню, отец начал учить меня, или, попросту говоря, бить, когда мне не было еще пяти лет. Он сек меня розгами, драл за уши, бил по голове, и я, просыпаясь каждое утро думал, прежде всего: будут ли сегодня драть меня? Играть и шалить мне и Федору запрещалось; мы должны были ходить к утрени и ранней обедне, целовать попам и монахам руки, читать дома акафисты. Ты вот религиозна и все это любишь, а я боюсь религии, и когда прохожу мимо церкви, то мне припоминается мое детство и становится жутко. Когда мне было восемь лет, меня уже взяли в амбар; я работал, как простой мальчик, и это было нездорово, потому что меня тут били почти каждый день. Потом, когда меня отдали в гимназию, я до обеда учился, а от обеда до вечера должен был сидеть в том же амбаре, и так до двадцати двух лет (сам Антон до 16 лет. – Б.Д.), пока я не познакомился в университете с Ярцевым, который убедил меня уйти из отцовского дома. Этот Ярцев сделал мне много добра»...

Маленькая таганрогская лавка Павла Егоровича, где секли Андрюшку и Гаврюшку – мальчиков Павла Егоровича – и унижали и притесняли, а также секли и братьев Чеховых, преобразуется в громадный символ – в Амбар, который всех делает несчастными, и богатых, и бедных, и жертв, и мучителей, и начальников, и подчиненных. По этой повести видно, насколько лавка отца отравила жизнь Антону, его душу, психику, мирозерцание, настолько, что по этой причине он не может быть счастливым.

Возьмем еще, к примеру, «Чайку». Отношение Треплева к матери, актрисе Аркадиной несет косвенный отпечаток этого психологического ощущения. В этом отношении Треплев – очень характерный герой для понимания Чехова и его детства, отрочества и юности, в пьесе – отголоски его психологического отношения к матери. Вроде бы и мать – самое-самое существо в детстве и юности, но в тоже время – чужой человек, который не мог его обласкать, обогреть, тогда, когда он в этом особенно нуждался, не мог влить в него любовь, уверенность в себе. Защитить его, наконец.

Треплев страдал в детстве и в юности от отсутствия материнской любви, он нуждается в этой любви и теперь. Несмотря на свои 25 лет, Треплев еще юноша, почти мальчишка. И когда он с ревностью говорит дяде о светлых кофточках матери и о том, что она молодится, то в этом чувствуется ревность сына, причем, по возрасту отрока, который не знал материнской любви ни в детстве, ни в отрочестве, ни в юности, в то время как мать (не любя его и прежде), теперь отдает свою любовь другому мужчине. А ее собственный сын обделен такой любовью с детства.

Мать Треплева изображена в пьесе как чужой человек, лишенный кровного родства по отношению к своему сыну. Впрочем, как и сын для матери чужой человек. Это отношения, лишенные тепла родного очага. Поэтому с самого детства Треплев – человек несчастный. Не несчастливый, а именно несчастный, потому что несчастливый когда-нибудь может стать счастливым. Треплев не станет счастливым никогда. И несчастье его порождена именно матерью, ее эгоизмом, равнодушием, неласковостью. Отца он никогда не знал, а такое чудовище, как Аркадина, – какая это мать? Мать, которая не радуется успехам своего сына, и если в его пьесе нет ей места, то для нее это пьеса заведомо плохая. И она готова ее разорвать

на кусочки. Потрясающий, пещерный эгоизм! Вышла первая книжка ее сына, прошло уже много времени, а она, культурная женщина, «представьте себе, я еще даже не читала!». Ничего в этом создании нет материнского, и такую особь мог вывести только Чехов, назвав ее матерью. Так что Треплев во всех смыслах сирота. Этот отпечаток несчастья он привнес в литературу, в творчество, в любовь, где нет ему удачи. Треплеву нет места в жизни, в том мире, где он живет, от этой несчастья он никак не может найти себя в литературе, поймать свой тон, как замечает Тригорин. И он вдвойне несчастен оттого, что его соперник Тригорин любим обеими женщинами. Ни мать, ни Нина не променяют его на Треплева.

В итоге во всех вещах Чехова матери играют неблагоприятную или отрицательную роль в жизни своих сыновей. В повести «Три года» – это затравленная мать, давшая герою дурную, «несчастную» наследственность, в повести «Степь» маленький герой чувствует себя не обласканным матерью сиротой, о постаревшем дяде Ване я скажу в конце книги, когда речь пойдет о чеховских пьесах. А отдельно, повторяю, стоят такие вещи, как рассказ «Володя» и пьеса «Чайка». В двух последних вещах матери играют роковую роль в жизни своих сыновей. Оба погибают, причем, стреляются – и Володя и Треплев. Матери не просто не спасли своих сыновей, но и своим поведением, пошлостью, равнодушием подтолкнули их обоих к самоубийству.

Из всего этого и выводится образ матери из его вещей, либо как совершенно роковой, погибельный для сыновей, либо не занимающий никакого места в жизни героев. Там, где у героя должен быть отец, – там деспот, хам, грубиян, «благодетель», тяжелый человек, отравивший герою детство, надломивший ему психику и сломавший ему жизнь («Три года», «Моя жизнь», «Тяжелые люди», «Палата №6» (отец Ивана Дмитрича), а там, где должна быть мать – там пустота... Или матери нет вовсе (умерла), или она что-то вроде Аркадиной или «мамаша». Герои Чехова – сыновья, мальчики, юноши – не чувствуют в своей жизни поддержки женского, материнского начала, ее благотворного, умиротворяющего влияния, а стало быть, оно, женское начало, обходит их стороной. И самым естественным образом его героям впоследствии так трудно полюбить женщину. Что-то сломлено в них или сломано уже вначале, в детстве, недополучено от женщин – матери, сестер, теток, бабушек, – от этого, быть может, уже в зрелости – излишняя настороженность, предубеждение против женщины и против брака, душевная холодность и неспособность полюбить.

Чехов, конечно, мог и не выстраивать этих отношений сознательно, не соотносить их со своею собственной жизнью и ролью в ней его собственной матери, Евгении Яковлевны. Скорее всего, это получалось бессознательно, как психический отпечаток его детства, отрочества и юности. Иначе он просто не мог, иначе у него бы просто не вышло – иные образы матерей. Но творчество, как известно, бессознательно и черпается из собственной психики, как бы потом образы ни объективировались.

И отголосок этой «несчастья» в психологическом и творческом плане вскоре преобразуется в Чехове в разрушительную, отрицательную тенденцию, наполнявшие его рассказы и повести.

Совершенно не случайно то, что в рассказах и повестях Чехова, особенно в пьесах, герои томятся, страдают без любви, но сама любовь изображается слабо, скуп, невыразительно. Герой Чехова хочет полюбить, но это ему трудно, тяжело. Любовь не дается его героям. Как и автору, впрочем.

Насколько важно было для него лично это родительское влияние, видим по пьесе «Три сестры». Это единственная вещь, где о родителях героини вспоминают с теплотой и любовью. Но их уже нет в живых. И как только умерли родители (через год, «скоро год, как умер папа»), жизнь героинь стала рушиться и пришла к краху. Герои беззащитны перед злом, напором чуждых героев.

Глава III

Исчадие провинциального ада

Родственники оставили очень много воспоминаний об Антоне Павловиче. Для последующих поколений читателей и исследователей его творчества они являются бесценными свидетельствами. Но для нас, исследователей, важнее всего, быть может, не воспоминания свидетелей, не высказывания самого писателя или его родственников (хотя они крайне важны, повторяю, куда без них?). Но нам важнее все-таки тексты писателя. В них – вся правда о жизни писателя, о его душе и стремлениях, о его сокровенных и потаенных мыслях и желаниях. Писатель всегда скажется в своих вещах, как бы ни был он скрытен и объективен, и его отношение к миру всегда отразится. Это общеизвестные вещи. Два-три совпадения – и уже звучит у писателя мотив, а там уже из него рождается образ, выкристаллизовывается идея, а далее – уже философия явления или человека. Леонтьев-Щеглов отмечает в своих воспоминаниях, что Чехов мало использовал Москву в своих повестях и рассказах. Это верно. Но не потому, что, как думал Щеглов, Чехов, живя в Москве, был занят хлебом насущным, а потому, что тема Чехова, его материал – провинция. Если Чехов пишет о городе или городке, то только о провинциальном, глухом городе или городке. Чехов ненавидел провинциальный город всеми фибрами своей души, раз и навсегда, люто, безоговорочно. Провинциальный город – личный враг Чехова. И это – из детства, из детских, несчастных ощущений.

Детство дало Чехову как писателю очень многое – в отрицательном смысле главным образом. В сущности, оно и заложило ту основную, разрушительную тенденцию его творчества. И, как ни странно, эта тенденция станет впоследствии его подлинной музой, в которой он черпал истинное вдохновение. Несомненно, несчастное детство сливалось в сознании ребенка (Чехова) с образом города, в котором он рос, страдал и был несчастен. Маленький городок в таком мировосприятии (чеховском) вырастает до размеров вселенского ада. И будь Таганрог хоть трижды раем земным, для маленького мученика и страдальца – это ад. Этот «ад» земной с – преувеличениями и гиперболами, со сгущением зла, с его концентрацией – овеществлен в повести «Моя жизнь», одной из наиболее ярких автобиографических вещей Чеховского Таганрога в повести «Моя жизнь» и «Три года» – это исчадие провинциального ада, где любое хорошее начинание, даже, к примеру, устройство домашних спектаклей у Ажогиных, обращается в пошлость.

В провинциальном городе не может быть никакой поэзии. Чехов не видит в нем никаких проблесков, надежд на лучшее. Приговор провинциальному городу – рассказы «Ионыч» и «Палата №6». В рассказе «Ионыч» лучший человек в городе – это доктор Старцев (так считала Катя, его возлюбленная.) А в кого он превратился? В жирного борова, главным стремлением которого теперь были купюры. Лучшие люди – Туркины – а они однообразны, неоригинальны до бездарности. О других и говорить нечего.

Если собрать воедино все провинциальные города и городки, которые он описал в своих рассказах и повестях – получится не только мрачная, страшная, но главное – безнадежная картина.

Так, со временем, когда Антон стал писателем, в его произведениях вырастает общий образ провинциального города как Большого Застенка, где живут, с одной стороны, мучители и несправедливые люди, а с другой – их жертвы, среди которых – он, сам, Антон. Он не мог хорошо относиться к городу, в котором был несчастен в главное время своей жизни – в детстве. С течением времени это сознание укрепляется в Чехове и возникает в его вещах общая философия провинциального города – губернского или глухого уездного – как проклятого места, где все погибает на корню – ум, талант, душа, порывы, стремления...

В сущности, город, как он устроен в России в силу каких-то причин – исторических, климатических, социальных, территориальных – враг человека. Так считал Чехов, таков его взгляд на историю, на человека вообще.

Таганрог оставил свои следы также в рассказах и повестях Чехова: «Учитель словесности», «Человек в футляре», «Палата №6», «Дама с собачкой», «Невеста». И некоторых других вещах. Вернее, лучше будет сказать так: в тех произведениях, где есть провинциальный город, это почти всегда сам Таганрог или психологические отголоски таганрогской жизни, детства Чехова, прожитого какими-либо из героев в провинциальном городе, в несчастливой или несчастной семье, в гнусной, косной среде.

И у этого города один образ – резко отрицательный. Уездный или губернский это город, но «прототипом» этого города является таганрогские впечатления.

Что значит, когда маленький человек в детстве начисто был лишен любви.

В этом городе, вообще в том мире, где Чехов родился и жил, формировался как человек и личность, было мало красоты. Еще меньше было в этом мире справедливости. В нем на корню погибали любовь, талант, идеалы, мечты, не успевая расцвести и опереться. Об этом – о гибели таланта и души, порывов и идеалов – у Чехова много, он за всех русских писателей сказал это на многие века вперед в разных оттенках и вариациях. Бежать отсюда, из этой среды! Прочь, прочь из родительского дома – в Москву, в Москву! В Москве – спасение, вернее, есть надежда на спасение, надежда на развитие таланта и его реализацию.

Что же делать тем, оставшимся, у которых нет возможности бежать? Что делать, если в России всего два города – Москва и Петербург? А остальная территория?

А остальная территория – это точно уже не Россия или совсем другая Россия. Провинция – это как бы другая страна, неприветливая, скучная, холодная и безнадёжная. Провинция не только как понятие, но и как место обитания, есть и во Франции, и в Германии. Но в России все по-другому, все по-особенному.

Бежать надо вовремя – молодым, еще лучше юным, полным сил, надежд, желаний и стремлений. Так уж совпало в его судьбе, что этот запланированный отъезд в Москву, в сущности, запланированным им побег из родительского дома совпал с переездом туда его родителей, вынужденных бежать от кредиторов. Вся чеховская семья перебралась в Москву. Отец Чехова, как известно, разорился и вынужден был тайно бежать из Таганрога, искать покровительства в Москве у родственников. И путь для этого он выбрал воровской – уехал на соседнюю станцию, чтобы его не могли видеть знакомые и кредиторы, откуда сел в поезд, идущий в Москву. Антон остался один отдуваться за всю семью, а главным образом за отца. Павел Егорович мало того, что мучил своих сыновей, вообще всю семью своим деспотизмом, но еще и плохо вел дела как коммерсант, а кончил и того хуже – сбежал от долгов. Можно себе представить, каково было одному Антону в этот период! Брошенный дом, родной очаг, в который вложено столько денег, столько надежд, заветный, долгожданный, многострадальный собственный угол – и все это бросить... О, это надо пережить! Тут повзрослеешь за год, как за десять лет. Можно вообразить, сколько унижений и даже оскорблений вытерпел Антон по поводу этого тайного бегства отца. Ведь отец был купец, не мужик, а долги купцов – вопрос чрезвычайно щепетильный для этого сословия. Но отец переступил через это, легко представить себе, как страдал Антон. Наверное, в эти три года, пожалуй, самую важную, решающую и унижающую для него пору жизни, дал он себе клятву – спасти семью от унижений и ужасов нищеты, стать ее стержнем, главным кормильцем. И дал он себе что-то вроде зарок: «не умереть на чердаке». В эту же пору формировалась та, чеховская гордость и щепетильность в отношении долгов и оплаты счетов, в отношении к деньгам.

Вынужденный терпеть насмешки, унижения и, несомненно, оскорбления от отцовского воровского поступка, вынужденный еще три года оставаться в городе, чтобы окончить гимназию, Антон все эти переживания выплеснет затем на страницы «Моей жизни». Ненависть

обывателей к главному герою повести Мисаилу Полозневу, осуждение его за дерзкий поступок, идущий вразрез с жизнью среды, и ответная ненависть Мисаила к жизни этих обывателей, – это опосредованное выражение страданий Антона уже повзрослевшего, уже гимназиста последнего класса. Его страдания – расплата за поступок отца. Так и видится, как шагает в родном городе по улицам или по базару юный Антон, а вслед ему несутся насмешки или оскорбления обывателей:

– Ну что, как там папаша поживает? Сбежал, сукин сын! Ты, небось, тоже, мерзавец, такой же! Яблоко от яблони...

И – либо плеснут помоями в его сторону, либо швырнут под ноги объедки. Как Мисаилу Полозневу, его герою из «Моей жизни».

Это все надо пережить и вытерпеть. И закалиться. И дать себе клятву и укрепить свою волю.

Но в этой повести он и поквитался с ними, а главное, ни одной светлой краски не подарил он родному городу. И отец героя (хотя и архитектор, а не купец) выведен в повести ужасным человеком, без какого-нибудь тепла, сочувствия, хоть какой-то светлой красочки.

Поистине Застенок.

И другой еще предмет мучений и страданий – их собственный, чеховский дом, доставшийся путем махинаций бывшему квартиранту – Селиванову... Дом, в котором он, Антон, оставался еще жить и за стол и кров давать уроки племяннику бывшего квартиранта и теперешнего хозяина. Это тоже надо пережить – видеть, как в бывшем родительском доме хозяйничают у тебя на глазах другие люди.

А там, в Москве – скитания его семьи по чужим углам. И эти чужие углы ожидали и его.

Детство, прожитое без родительской любви и ласки, «несчастье» в самую лучшую пору жизни.

А. П. Чехов уехал из Таганрога в 1879 году 19-летним юношей. И после отъезда из Таганрога почти все его отзывы о родном городе были резко отрицательными. Первая поездка домой была в 1881 году. В журнале «Зритель» в 1881 году №16 вышла юмореска «Свадебный сезон», где были осмеяны нравы таганрожцев, их мещанский духовно скудный мир, где «интересов никаких».

Вторая поездка на родину была осуществлена с 4 апреля по 15 мая 1887 года. Чехов писал в то время «Степь», и ему требовалось «возобновить в памяти то, что уже начало тускнеть». Эта поездка оставила свои следы в «Огнях» (1888 г.). «Город чистенький и красивый, как игрушка»... Эта же поездка дала впечатления для рассказов «Счастье, «Перекасти-поле», «Красавицы» и конечно же, «Степь».

Чехов пишет: «Грязен, пуст, ленив, безграмотен и скучен Таганрог. Нет ни одной грамотной вывески и есть даже трактир „Расия“; улицы пустынные; рожи драгилей довольны; франты в длинных пальто и картузах, облупившаяся штукатурка, всеобщая лень, умение довольствоваться грошами и неопределенным будущим – все тут это воочию так противно»...

Всякий раз, когда Чехов приезжал в родной город, он производил на Чехова тягостное впечатление глухой провинции с пыльными улицами, где казалось, остановилась всякая жизнь, где нет «ни патриотов, ни дельцов, ни поэтов, ни даже приличных булочников, ни одной грамотной вывески».

Впрочем, не будем судить о Таганроге второй половины 19 века со слов Чехова. Много ли на свете было вещей, которые бы ему нравились безусловно? Отнюдь. О городах и говорить нечего. Почти во всякой предмете, явлении он умел находить отрицательные стороны – так он был устроен. Без этого не было бы того Чехова, который известен всему миру.

Отрицательный отзыв о Таганроге оставил и приятель А. Чехова и его современник, писатель И.А.Бунин. Из его книги о Чехове (И.А.Бунин, СС в 6 томах, т. 6, стр. 147, Москва, «Художественная литература», 1988 г.).

...«Чехов родился на берегу мелкого Азовского моря, в уездном городе, глухом в ту пору, и характер этой скучной страны немало, должно быть, способствовал развитию его природной меланхолии».

Вряд ли это так. Таганрог – город южный, где много солнца, большую часть года небо голубое, довольно тепло, вряд ли все это способствует развитию меланхолии, даже если она и прирожденная. Конечно, жизнь в родительской семье наложила свой отрицательный отпечаток, но город-то, «скучная страна» здесь не при чем. Что касается этой самой «скучной страны», по выражению Бунина, то сам он родился тоже почти в степи, в «стране» более однообразной, чем чеховский Таганрог, только без моря, хотя бы и мелкого. И на прогресс меланхолии это никак не может повлиять. Вообще это довольно существенная натяжка, даже у наших больших писателей, искать черты характера, причем коренные, в характере местности... И вовсе не был таким глухим в ту пору Таганрог, как о том пишет И. Бунин. Сам Иван Алексеевич очень много ездил и путешествовал по России. Но в Таганроге он, скорее всего, не был, свидетельств об этом нет. Он пишет о Таганроге вероятнее всего со слов самого Чехова, ведь они с Чеховым были дружны и рассказывали друг другу о своем детстве. Это достоверно известно.

И вовсе Чехов не был прирожденным меланхоликом. Я очень сильно сомневаюсь в этом. Другое дело, что меланхолия – то есть устойчивое состояние грусти и печали с годами развилась в нем, стала устойчивой чертой. Потому как Чехов чего-то, коренного не преодолел он в себе, не наработал в своей жизни, в своем мировоззрении. И развилось устойчивое отрицательное состояние – меланхолия. Когда человек оказывается во власти одних и тех же неразрешимых мыслей, желаний, задач, непреодолимых, гнетущих его психологических состояний; глубокая неудовлетворенность жизнью снедает его; важное, коренное в жизни недостижимо и с годами все недостижимее, о чем можно только мечтать, уноситься к этому в мечтах и грезах. Я полагаю, что этим недостижимым желанием были его мысли о любви и любимой женщине, о семье. Это самая-самая его затаенная, заветная мечта-желание, которая с годами становится все неосуществимее. Все отодвигается и откладывается это желание, и все невозможнее эту мечту осуществить. А потом уже такой недостижимой мыслью-мечтой становится здоровье. Молодой Чехов – жизнерадостный парень. Не надо забывать, что сам он говорил писательнице Л. Авиловой о том, что «до 30 лет я жил припеваючи». Конечно, веселость и грусть идут рука об руку, соседствуют, но говорить о прирожденной у Чехова меланхолии нет никаких оснований.

А здоровье его напрямую было связано с мировоззрением, с состоянием души. Медикам известно то, что меланхолия порождает болезни легких, способствует их развитию и прогрессу.

В действительности, что это был за город в то, дочеховское и чеховское время?

Из книги Дымова о Таганроге: «К концу 18 века город, утратив свое бывшее значение военно-морской базы, превратился в крупный внешнеторговый порт, куда приходили сотни иностранных судов, вывозивших отсюда пшеницу и другие сельскохозяйственные товары. В 50-х годах 19 века Таганрог – оживленный город резких социальных контрастов: роскошных купеческих особняков и убогих глинобитных лачуг, преуспевающих торговцев и обездоленного люда. Через порт города проходило тогда около 40% товаров, поступающих в южные порты России – пшеница, масло, сало, льняное семя, антрацит. Доход давала и узаконенная властями контрабанда.»

Конечно, не был Таганрог в ту пору глухим, как не мог быть глухим портовый город. Чехов сгущает краски, преувеличивает «отрицательность» родного города. Да и вот, к примеру, его товарищ и земляк А.Л.Вишневский, актер МХАТа, вспоминал Таганрог: «Родился я в Таганроге. Это был очень красивый портовый город, жители которого отличались американским размахом в торговле, в то же время, как настоящие южане, страстно любили театр. Были сезоны, когда в течение года в великолепном городском театре лучшая русская драма

сменялась итальянской оперой и имена самых лучших, крупных столичных артистов не сходили с афиш, расклеенных по городу»...

И замечательно, как сам Вишневский говорит о жителях города: «настоящие южане». И сам он, скорее всего, чувствовал себя «настоящим южанином». А два театра, причем, роскошных, в городе? Уж точно никак не мог он быть глухой провинцией.

Другое дело, что с постройкой железной дороги падало значение порта, зато оживление в город вносила железная дорога.

Когда Чехов дурно отзывался о своем родном городе, то по каким же мелочам, зачастую совсем незначительным, судит он о нем: улицы пустынные, рожи драгилей довольны (разве было бы лучше, если бы эти «рожи» были недовольны? – Б.Д.), ни одной грамотной вывески, франты в длинных пальто и картузах...» В той же Москве неграмотных вывесок, я думаю, было не меньше, и длинных пальто на франтах не меньше – все эти мелочи несущественны для оценки города.

Оценивая город, он оставляет историю Таганрога за бортом своих оценок, а берет провинциальный город (вероятно, не только Таганрог, но и другие) в его застывшей, вневременной оценке, вернее, в сиюминутной оценке, в которой на первый план выступают эмоции, настроение. Он судит город вне его эволюции, вне развития и становления, в сущности, берет и судит город вне его истории, а историю выбрасывает за борт, отрицая ее, отрицая 200-летнюю историю развития Таганрога. А судит только эмоционально, по настроению – грязен, скучен, пуст, обшарпанная штукатурка, вывески неграмотные; судит по тем свиным рылам и рожам, которые есть везде и повсюду, даже в самом лучшем европейском городе. А кто же строил этот форпост на юге России, кто строил порт, кто прокладывал железную дорогу, кто развивал торговлю? Не одни же свиные рыла. А где герои – простые, скромные труженики, незаметные – строители, военные, мореплаватели, офицеры, любящие свое отечество, патриоты, губернаторы, градоначальники? Странная у нас вообще литература, именуемая классической! Создано величайшее государство, расположившееся на двух континентах, аналогов ему в мире нет, которое во времена Чехова все продолжало расширять свои владения, возникали новые города, обустроивались старые, был флот, государство воевало, защищалось, развивалась торговля, промышленность, землепроходцы и казаки шли на восток, на свой страх и риск, зачастую без еды и без снаряжения – да мало ли! А литература, именуемая классической, весь век искала и находила «героя» в салонах Москвы и Петербурга и тащила его, бездельника, бабника, лежебоку или пустого человека на свои страницы. Или брала в «герои» полуобразованного нигилиста, резавшего лягушек и объявлявшего Пушкина ненужным; брала для той пустой затеи, чтобы развенчать его, когда и развенчивать-то нечего. Или изображала почти сплошь уродов, как Гоголь. Онегины, Печорины, Обломы, Базаровы и др. – это отражение ничтожной, по крайней мере, не самой значительной части жизни русского общества и государства, и только под пером наших классиков эти «герои» превращались в значительных особ – да так, что по этим «героям» в школах наших и до сих пор новые поколения изучают литературу и историю.

Вся эта литература была сосредоточена в двух городах или вокруг двух городов – и там находила в салонах своих «героев». А Русь великая осталась незамеченной и обойденной вниманием.

Чехов в этом отношении ничуть не лучше своих братьев. Ведь он же искренне восхищался Бошняком, Невельским, его очаровательной, молодой, бесстрашной женой, его сподвижницей, восхищался Пржевальским. Восхищался, но... обошел вниманием, как и другие. Не его тема. «Какие мы герои?» Но рядовой, будничныи героизм людей, труд созидателей – не тема для наших классиков, не по нутру это им было. Они предпочитали будничную жизнь свиных рал.

Впрочем, это уже совсем другая тема.

Но Русь-то жила и прирастала – богатствами и талантами. И стояла и расширялась, шла на восток и на север. И надо было на все это как-то по-другому посмотреть, другими глазами, иным мировоззрением это обнять и оценить. Где же идеалы, а главное, – в чем они?

Чехов все же в конце жизни писал: «Для меня, как уроженца Таганрога, было бы лучше всего жить в Таганроге, ибо «дым отечества нам сладок и приятен». И далее: «Когда выстроится Таганрог, тогда я продам ялтинский дом и куплю себе какое-нибудь логовище на Большой или Греческой улице» (из письма 11 мая 1902 года). «Если бы не бациллы, то я поселился бы в Таганроге года на два на три и занялся бы районом Таганрог-Бахмут-Зверево. Это фантастический край. Донецкую степь я люблю и когда-то чувствовал себя в ней, как дома, и знал там каждую балочку». (Из письма 25 июня 1898 года).

Если бы развитие его громадного таланта пошло бы по направлению «Степи», то есть изображению и утверждению красоты (хотя бы отчасти). Но меж Степью (природой) и Городом (провинциальным) прошла резкая граница, отделяющая, по его воззрению, красоту от пошлости, истину от лжи, правду от фальши.

Стихия природы, Степи – красота, радость, гармония, порядок, счастье.

Стихия Города – это страдание, скука, дисгармония, несчастье.

Для изображения любви человека, радости краски в его палитре были скудные, однообразные, для изображения же любви к природе – какое богатство красок, сколько лиризма!

Таким образом, Город и Степь – это сформировавшееся противопоставление его детства. Отсюда берут истоки его философского восприятия, отношения к этим двум стихиям. Сколько любви, поэзии вложил он в Степь (природу), столько же нелюбви, отрицания и неприязни вложил в Город. Истоки эти известны: родной провинциальный город отложил тяжелый отпечаток на душе и психике юного и молодого Чехова. И это предопределило его дальнейшее отношение к провинциальному городу, сформировало философию провинциального «городка-ада», где ничего не может быть хорошего. Панауров, герой повести «Три года» говорит: «У вас там, в столице, до сих пор еще интересуются провинцией только с лирической стороны, так сказать, со стороны пейзажа и Антона Горемыки, но клянусь вам, мой друг, никакой лирики нет, а есть только дикость, подлость, мерзость – и больше ничего.»

И, увы! – больше ничего. Страшный, безнадежный, безысходный, пессимистичный настрой. А от этого настроения и до болезни недалеко. Один только шаг.

Глава IV

Год роковой, трагический...

Молодой Чехов – писатель плодовитый и очень работоспособный. Начинал он, как известно, с небольших юмористических рассказов, которые печатал в журналах «Будильник», «Стрекоза», «Развлечение», «Осколки» и других...

В среднем он писал по одному большому тому в год. Вот эта хроника: 2 том ПСС – 382 стр. текста, написан в период 1883 – начало 1884 гг. 3 том – 482 стр. текста. Период – май 1884-май 1885 гг. В переломном, 1886 году с марта по декабрь Чехов написал 84 рассказа, собранных в 4 томе ПСС. 84 рассказа за неполных десять месяцев! Среди них – «На пути», «Агафья», «Волк», «Кошмар», «Несчастье», «Панихида», «Ведьма» и другие шедевры. Это 8,4 рассказа в месяц – в итоге 500 страничный том. Потрясающая работоспособность и трудоспособность! Чехов – писатель плодовитый, но главное – трудоспособный. До 1888 года он в среднем писал по одному большому тому в 500 страниц в год.

В следующем в 1887 году количество рассказов сокращается еще ненамного, всего на четверть – с 84 до 62, но все равно в итоге выходит 500 страничный том. И среди них такие шедевры, глубокие рассказы – «Тиф», «Володя», «Счастье», «Враги», «Холодная кровь», «Поцелуй», «Верочка». И лишь в 1888 году резко сокращается количество написанного.

По 500 страниц в год – это роман размером с «Утраченные иллюзии» О. Бальзака. И хотя не все равнозначного, хорошего качества, но работоспособность и трудоспособность, недомая никому из русских писателей. Тем более в такие почти юные годы. Да и из мировых знаменитостей немногие сравнятся с ним. Факт, достойный поучения и восхищения и, несомненно, подражания. А ведь еще была медицина, которая тоже отнимала время. А ведь надо еще читать. Он отрезал себя от многого, отказал себе во многом, пожертвовал многим. А ведь это – молодость, лучшие ее страницы для красивого, интересного, обаятельного молодого мужчины. 26 лет – самый расцвет, вернее первая пора расцвета. И даже если бы он ничего более не написал, он оставил бы после себя яркий след. Чехов своими рассказами демонстрировал поразительные, почти неисчерпаемые возможности по нахождению и использованию тем, сюжетов и их переработке и воплощению в творчество. У него никогда не было проблем с темами и сюжетами, а глубина их разработки поражает. Тут все остальные писатели, особенно сверстники – дети перед ним. И.А.Бунин позднее, описывая свою дружбу с А.П.Чеховым, признавался в своих воспоминаниях: «Постепенно я все более и более узнавал его жизнь, начал отдавать отчет, какой у него разнообразный жизненный опыт, сравнивал его со своим и стал понимать, что я перед ним мальчишка, щенок... Ведь до тридцати лет написаны „Скучная история“, „Тиф“ и другие, поражающие опытом его произведения.»

В 1886 году далеко не безобидный юморист и острый на язык насмешник однажды получил от старого, маститого писателя Д. Григоровича письмо, ставшее впоследствии знаменитым, – письмо, круто изменившее его судьбу. В нем автор «Антон Горемыки» советовал молодому писателю пересмотреть свое отношение к литературе, к творчеству вообще, в частности, к многописанию. С начала 1886 года Чехов по рекомендации Григоровича получает приглашение от Суворина сотрудничать в его газете «Новое время». И он пишет Суворину от 21.02.1886 года: «Пишу я сравнительно немного: не более 2—3 мелких рассказов в неделю.

И это у него называется «немного». А Григоровичу он пишет, что «письму я отдаю досуг, часа два-три в день и кусочек ночи, то есть время, годное только для мелкой работы».

Никто из наших писателей не дебютировал так, как Чехов. Я говорю не о громкости дебюта, когда одно только произведение выводило писателя от безвестности к известности и даже – в знаменитости. Такие дебюты в русской литературе были, в особенности дебют Досто-

евского в 25 лет со своими «Бедными людьми». Л. Толстой дебютировал в 23 года «Детством» и сразу стал замечен. В 23 года Гоголь выпустил «Миргород» и сразу же стал знаменит, хотя это уже вторая его книжка. А первая была еще юношеская. Но когда я говорю о дебюте Чехова, я имею в виду и глубину постижения жизни в столь молодом возрасте, и о разнообразии тем и сюжетов, а главное – о знании жизни. В вещах Чехова не было привязанности к какой-то одной среде, сословию, классу, местности, выходцем которой был писатель. В литературу пришел писатель невиданного доселе жизненного опыта по разнообразию, несмотря на столь молодые годы. Как это ему удавалось? Какое нужно иметь зрение? В его рассказах было огромное разнообразие лиц, характеров, мест действий, тем, сюжетов. И попробуй, определи, где автор жил, чем занимался, какой деятельностью, кто он по профессии, к какому сословию принадлежит. К примеру, Гоголь и Толстой дебютировали, используя впечатления детства – «Вечера» и «Детство, Отрочество, Юность». Достоевский «Бедными людьми» отобразил среду, в которой жил. Гоголь продолжает использовать детские впечатления и пишет «Миргород», Толстой живет на Кавказе, а затем в Севастополе, и это отражается в его вещах – «Набег», «Рубка леса», «Севастопольские рассказы». Попробуй, отыщи в рассказах Чехова «следы» его жизни! Чехов не пишет ни о медицине, ни о врачах, ни о народных больничных нуждах, ни о детстве, ни о чем таком, что связано было с его профессией, местом его проживания или впечатлениями детства, как это вообще свойственно молодым писателям. Герои Чехова – пестрота необычайная. (Один из его сборников так и назван – «Пестрые рассказы»). Это доктора, чиновники, адвокаты, присяжные поверенные и заседатели, секретари судов, мировые, прокуроры, земцы, мелкие дворяне, разорившиеся помещики, актеры, актрисы, художники, городовые, купцы, студенты, дачники, мужики и бабы, извозчики, егеря и множество других. Пожалуй, нет ни одного слоя, сферы жизни, в которую бы не заглянул острый взгляд молодого писателя. Чехов знает кулинарию («Сирена»), он досконально знает церковную службу («Панихида»), ему ведомо судопроизводство («Сонная одурь»), медицина, театр, он проник за кулисы и увидел актерские драмы («Актерская гибель», «Калхас», «Средство от запоя»), увидел нищету и горе мужиков и баб, их любовные и жизненные драмы («Злоумышленник», «Егерь», «Агафья»). И многое другое.

Это показано еще пока во многом эскизно, но разнообразие это, язык, знание среды поражают и могут служить отличным примером для молодого писателя.

Поиск героя – это вообще свойственно любому молодому писателю. Прежние писатели искали и старались показать героя, который бы нес какую-нибудь идею, направление или тенденцию. Это было привычно для русской литературы, и было неременным требованием и публики и критики. Молодой Чехов в этом смысле «безгероичен». За это ему крепко доставалось от тогдашней критики, потому что хотели видеть героя, в котором бы прямо выражалось мировоззрение автора. Его герои – все, кто попадался ему на глаза. Постепенно, конечно, выкристаллизовывается (уже к 1887—1889 году) чеховский «герой», несущий его, чеховскую идею и тенденцию. Первый в таком ряду героев – Иванов.

Карьера его медленно, но верно растет. Впрочем, сказать медленно, значит, ничего не сказать. Автор «Будильника», «Развлечения», «Осколков» становится автором солидных, читаемых – «Петербургской газеты», а вскоре и «Нового времени», у которого тысячи подписчиков по всей стране. Гонорары его неизмеримо растут. Многие его сверстники, даже более старшие товарищи, так и остались на этом, «осколочном» уровне, а он шагает вверх. Растет его известность, растут его доходы. А ему всего-то ничего. 26—27 – разве это возраст для писателя? Многие в этом возрасте только-только начинают. К примеру, о Тургеневе, Бунине, Куприне, Л. Андрееве и многих других писателях этого возраста как о литераторах и сказать-то нечего. Что они написали к 26—27 годам? А у него к тому времени 4—5 томов уже написано.

Вообще, говоря о плодовитости Чехова, никогда нельзя забывать о нужде. Нужда – сильный двигатель и вдохновитель писателя. А русского, быть может, в особенности. Нужда посто-

янно подвигала его к работе. Свободных денег, в сущности, не было никогда. Даже когда он купил уже себе именице Мелихово с небольшим хозяйством, зачастую выходило так, что будущий гонорар был расписан наперед. Конечно, это уже не студенческая, бедовая бедность, когда нечего есть и нет теплой шубы. Такой нищеты у него не было с конца 80-х годов. Но у Чехова большая семья на содержании – отец, мать, сестра, младшие братья. И у каждого свои нужды. Нужда напоминала о себе вплоть до 1898 года, пока он не продал свои сочинения издателю Марксу. Многие его письма вплоть до этого времени – это крик о безденежье. В этом смысле известный литературный критик и первый биограф Чехова А. Измайлов сравнивает Чехова с Достоевским, – тот, кстати, тоже немаленькую часть своих средств тратил на содержание своих близких и неблизких родственников, содержал семью умершего рано брата Михаила, давал деньги приемному сыну своей первой жены М. Исаевой – бездельнику и вымогателю Павлу.

Но Чехов – человек практичный, в денежных делах трезвый и расчетливый. Он вел их куда лучше других русских литераторов, в денежных делах, как правило, непрактичных. Бунин, к примеру, умудрился Нобелевскую премию в 100.000 долларов прожить в три года – громаднейшие в ту пору деньги. Конечно, помогли многочисленные просители, и он не мог отказать. У Достоевского от порядочного гонорара на другой день буквально не оставалось ни гроша.

С Чеховым такого бы не могло произойти.

Нужда и плодовитость – это взаимосвязано. Зависимость от денег сильно стимулирует писателя. И тут Чехов не исключение.

В 1887—1889 годы резко меняется общее настроение вещей. За то время, когда он решил отойти от медицины и целиком посвятить себя литературе, неизмеримо вырос он как писатель, художник, философ. Невозможно даже поверить в почти сказочную быстроту его писательского роста – ведь расстояние между небольшими, еще шуточными рассказами «Беззаконие», «Сирена» (лето 1887 г.) и до «Скучной истории» (сентябрь 1889 г.) он прошел всего за два года. Небывало короткое расстояние! Такое расстояние прошел только Гоголь от ученических «Вечеров» до «Старосветских помещиков». Непостижимо быстро вырос он как писатель, художник и философ, он ставит общечеловеческие вопросы: о смысле жизни, правде, лжи, добре, зле, истине, смерти, красоте... Но трактует их по-своему, по-новому, по-чеховски...

А как же быть с главным – с любовью женщины, с личным счастьем? Какое там! Тут и оглядеться-то некогда. Какое там счастье, какая любовь! Тут семью, себя надо вытащить из нищеты, чтобы «не умереть на чердаке», имя себе создать, выучить Машу, младших братьев, подумать о собственном гнездышке... Да и все впереди еще! 26 лет – разве это возраст? И для любви и для творчества. Но разумеется, Антон подумывает и о любви, и о семейной жизни. Явится женщина, и он влюбится, непременно влюбится. Надо только встретить ее и влюбиться.

Дело, в сущности, за малым. Он увлекается женщинами, ухаживает, крутит романы, но настоящей любви до сих пор нет. Ведь без любви никак нельзя. Особенно ему, который только о любви и мечтает втайне. Он молод, красив, интересен, высок ростом, не богат, но и не совсем без денег, заработок его все время растет... Судьба не обидела его... Оставалось лишь влюбиться... Его современница писательница Т. Щепкина-Куперник видит его таким в пору расцвета его молодости, в 80-е годы: «Его можно назвать скорее красивым. Хороший рост, приятно выующиеся, заброшенные назад волосы, небольшая бородка и усы. Держался он скромно, но без лишней застенчивости; жест сдержанный. Низкий бас с густым металлом (голос, который так нравится женщинам, замечу от себя. – Б.Д.); дикция настоящая русская, с оттенком чисто великорусского наречия; интонации гибкие, даже переливающиеся в какой-то легкий распев, однако без малейшей сентиментальности и, уж конечно, без тени искусственности.»

Если женщина пишет о мужчине, что он был скорее красив, значит, так оно и было в действительности. Впрочем, чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на его портреты 80-х годов.

Но далее Щепкина пишет: «Через час можно было определить еще две отметных черты. Внутреннее равновесие, спокойствие независимости, – в помине не было той улыбки, которая не сходит с лица собеседников, встретившихся на какой-то обоюдно приятной теме. Знаете эту напряженную любезную улыбку, выражающую: «Ах, как мне приятно с вами беседовать» или «У нас с вами, конечно, одни и те же вкусы».

Его же улыбка – это второе – была совсем особенная. Она сразу, быстро появлялась и так же быстро исчезала, Широкая, открытая, всем лицом, искренняя, но всегда накоротке. Точно человек спохватывался, что, пожалуй, по этому поводу дольше улыбаться и не следует. Это у Чехова было на всю жизнь. И это было фамильное. Такая же манера улыбаться была у его матери, у сестры, и, в особенности, у брата Ивана.» (там же стр. 280).

Вот что пишет о нем писатель Телешов: «...И вот, в разгаре свадебного шума, Белоусов (писатель. – Б.Д.) подвел меня к высокому молодому человеку с красивым лицом, с русой бородкой и ясными, немного насмешливыми глазами, будто улыбающимися:

– Чехов.»

О том, что Чехов был красив говорит и Лазарев-Грузинский, который вспоминает: «В восьмидесятые годы, когда я познакомился с Чеховым, он казался мне очень красивым, но мне хотелось знать женское мнение о наружности Чехова, и я спросил одну женщину исключительной красоты, когда-то встречавшуюся с Чеховым, что представлял из себя Чехов на женский взгляд?

Она ответила:

– Он был очень красив...

Театральный режиссер Немирович-Данченко: «Успех у женщин, кажется, имел большой. Говорю «кажется», потому что болтать на эту тему не любили ни он, ни я. Сужу по долетевшим слухам...

Русская интеллигентная женщина ничем в мужчине не могла увлечься так беззаветно, как его талантом. Думаю, что он был пленительным».

Пленительным и красивым (Б.Д.).

Красив, успех у женщин большой. Но где же она, его женщина? Одна среди многих.

Он хочет полюбить, но... он не может полюбить – вот что вдруг осознал он. 1887 год в этом смысле знаковый для него. Он понял, что в нем самом, в его душе, в сердце, сложилось какое-то серьезное препятствие для любви, какое-то губительная, разрушительная черта.

И началось это осознание с рассказа «Верочка», совсем вроде бы незаметного рассказа. Незаметного для широкой публики, для критики. Но существенный для самого Чехова. Кстати, Лев Толстой считал его одним из лучших у Чехова.

В рассказе героиня его изъясняется в любви герою, Огневу: «Вера была пленительно хороша, говорила красиво и страстно, но он испытывал не наслаждение, не жизненную радость, как бы хотел, а только чувство сострадания к Вере, боль и сожаление, что из-за него страдает хороший человек. Бог его знает, заговорил ли в нем книжный разум или заговорила неодолимая привычка к объективности, которая так часто мешает людям жить, но только восторги и страдания Веры казались ему приторными»... (стр. 82, том 5 ПСС).

27-летний Чехов через своего героя так описывает свое состояние. «Ах, да нельзя же любить насильно! – убеждал он себя и в то же время думал: – Когда же я полюблю не насильно? Ведь мне уже под тридцать! (Герою 29 лет. – Б.Д.). Лучше Веры я никогда не встречал женщин и никогда не встречу... О, собачья старость! Старость в тридцать лет!»

Главное препятствие для любви, оказывается... он сам! Препятствие для любви лежит в нем самом, в его душе.

В 1887 году Чехову 27 лет (его герою 29 лет), и он с тревогой отмечает такое ужасное свойство в себе, как неспособность полюбить, холодность, бесчувствие. Для него самого в ту пору это было, вероятно, открытием – и открытием потрясающим. В то время, быть может, это еще не предвещало признаков беды, несчастья, а означало лишь неприятное свойство – вполне, со временем, поправимое. Откуда они, эти черты? Он ставит себе диагноз: ранняя старость, бессилие души. Причины, считает он и его герой, – в воспитании, в беспорядочной борьбе за кусок хлеба, в номерной, бессемейной жизни, то есть перечень всего того, что прожито им самим.

Так ли это? Если так, то лишь частично. Что-то лежало еще внутри него, то, что мешало ему отдаться чувству целиком, какое-то препятствие. Что? Холодность? Бесстрастие? Бесчувствие? «Неодолимая привычка к объективности», – говорит о себе герой (ведь он по профессии статистик). Но ведь «неодолимая привычка к объективности» – это психологическая черта самого Чехова, вернее, его жизненная позиция и писательская задача, сделавшаяся «неодолимой привычкой». А может, что-то происходит или уже необратимо произошло с его душой? Может, оно было изначальное, в его психическом генотипе, данному ему от рождения? А может – это издержки его детства, прожитого без любви.

Это осознание продолжается в пьесе «Иванов», вышедшей и впервые поставленной именно в 1887 году. Этот год для Чехова вообще знаковый – в отрицательном смысле и значении. С Чеховым что-то произошло, какой-то перелом случился с его душой, который отразился в двух его главных произведениях этого периода – «Иванов» и «Скучная история».

«Иванов» как драматическое произведение – слабая вещь (о пьесах Чехова вообще отдельная речь), но оно, несомненно, несет новую для Чехова тенденцию, новые мысли и настроение. «Иванов» кое-что объясняет в Чехове той поры. В пьесе главный герой Иванов жалуется доктору Львову:

– «Женился я по страстной любви и клялся любить вечно, но... прошло пять лет, она все еще любит меня, а я... (Разводит руками). Вы вот говорите мне, что она скоро умрет, а я не чувствую ни любви, ни жалости, а какую-то пустоту, утомление»... И далее: «Я не понимаю, что делается с моей душой».

Герой рассказа «Верочка» Огнев, слыша объяснение в любви к себе прекрасной девушки, «лучше которой он не видел и не увидит в жизни», ничего не чувствует, ни восторга, ни умиления – ничего, кроме неловкости и неудобства, и спрашивает себя: «В чем дело?» Иванов, слыша от Львова, что его, Иванова, жена скоро умрет, ничего не чувствует, ни любви, ни жалости, а пустоту и утомление... И тоже не понимает, что происходит с ним. Их, героев, не трогают два крайних полюса человеческой жизни – любовь (то есть жизнь) и смерть. Сам Чехов мог бы косвенным образом пояснить это состояние, говоря бы, например, о цветке, попавшем на неблагоприятную почву, в скверный климат: не начав толком жить, не распустившись, не набрав сил, он уже увядает. Увядание – вот, что видит герой в себе. Начало увядания. Тоже самое было и с Гоголем на пороге 30 лет (о моя юность, о моя свежесть!), и с Лермонтовым («Едва начав жить, мы уж увядаем»), и с Есениным («Я не буду больше молодым»).

Откуда это? От той ли горечи, страха и ужаса, которые вселяют в молодую, неокрепшую душу мысли о смерти, о разрушении, о грядущей старости, от той мысли о смерти, когда уже зримо виден конец жизни, видна реальная бессмыслица жизни: ибо если есть смерть, то зачем все?

Увядание, вероятно, подступило к Чехову рано, а главное, неожиданно-негаданно. Даже еще болезнь, вероятно, не нанесла своих ощутимых ударов по здоровью и плоти, а увядание – вот оно, ниоткуда взялось. Быть может, и симптомов-то не было этого увядания, а если и были они замечены им, то так – навеяны могли быть временным недомоганием, упадком сил, временной усталостью, – да мало ли чем! Но когда постоянно думается об этом, напуганное воображение уже спешит преувеличить это явление. Если страх поселился, то симптомы увядания

и старости обязательно отыщутся. И вот уже одна только эта мысль потянула за собой целый шлейф других мыслей – о смерти и старости, о безобразии разрушения человека, его тела, плоти, ума, сознания, – человека, который когда-то был молодым.

Столь же рано чеховский герой замечает в себе признаки «собачьей старости», главными свойствами и симптомами которой были – невосприимчивость к красоте, невосприимчивость к чужому чувству, то есть, к женскому любовному чувству и неспособность откликнуться на него, оравнодушие, холодность. Таков Огнев из «Верочки», таков и Иванов из одноименной пьесы, таков же, спустя десять лет, и Подгорин из рассказа «У знакомых».

Это состояние проникновенно выразил другой поэт, чья жизнь была еще короче, чувствующий уходящее время с неменьшей остротой и трагизмом – С. Есенин.

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым,
Увяданья золотом охвачен,
Я не буду больше молодым...

Ты не так уж будешь больше биться
Сердце, тронутое холодком.
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий, ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст.
О, моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств!

Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя, иль ты приснилась мне!
Словно я весенней, гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с желтых листьев медь,
Будь же ты вовек благословенна,
Что пришлось процвести и умереть.

Это – реквием по утраченной юности и ушедшей молодости. Именно реквием. Поэт обобщил и трагически выразил это состояние, свойственное всем творцам такого психологического типа. И после написания такого реквиема жизнь уже не должна продолжаться, а должна прекратиться. Для такого жизнеощущения поэта жизнь уже окончена, музыка исполнена, занавес задернут. А то, что остается еще за занавесом, какая-то там еще жизнь, которая только по недоразумению еще продолжается, – это уже не жизнь, она уже всерьез не воспринимается, потому как – это «собачья старость», в нее страшно-то и заглядывать. Это не та страна, куда надо плыть! – а туда по воле ветра и волн влачится неумолимо корабль жизни. Разве после 30-ти лет в этой «собачьей» стране есть еще какая-то жизнь? Разве в ней еще что-то может хорошее и счастливое случиться?

Такой вот внутренний настрой. Чехов внутренне, психологически, так же, как и Есенин, Лермонтов, Цветаева, Гоголь, Мопассан, Блок, Маяковский, – этот ряд можно продолжить, страшился жизни, которая наступит после 30 лет. Они не готовы были жить в старости, не готовы были к ней, поэтому судьба отвела им так мало лет в действительности – кому чуть

больше, кому чуть меньше. Есть род писателей, которые точно яркие кометы на небосклоне. Они рано созревают и расцветают, но расцвет их короток, как северное лето. И смерть у них должна быть ранней, чаще всего преждевременной, – по воле ли роковых внешних причин, или по воле обстоятельств и слабого здоровья, болезни, но 40 лет жизни – это их предел.

Из всего этого списка такой вот итог: четверо умерли насильственной смертью, трое из них (Есенин, Маяковский, Цветаева) свели счеты с жизнью, а четвертый – Лермонтов – предрек свою гибель на дуэли. Двое просто легли и умерли (Гоголь и Блок) якобы от болезни, но названия этим болезням никто не произнес, ни один доктор. Попросту умерли потому, что не захотели жить дальше. И только Чехов один, хоть и умер преждевременной смертью, но не хотел умирать.

Этот крайне ограниченный горизонт, жизненный предел, который они внутренне, бессознательно себе установили, бросает нешуточный вызов судьбе и, вероятнее всего, создает действительные предпосылки и условия и для скорого старения и для ранней, преждевременной смерти. Этот же ограниченный горизонт и предел толкает поэтов и на самоубийство. Что посеешь, то и пожнешь, о чем усиленно помыслишь, чего усиленно пожелаешь, то и получишь. Жизнь далеко не ограничивается одной лишь молодостью и юностью, и если с таким отчаянием или вызовом зачеркивать остальные ее фазы, то, как знать, как ответят на это высшие силы и как повернется к тебе сама судьба?

Лейт-мотив в «Иванове» – я постарел, я утратил молодость, нет в душе любви... Пьеса еще напрямую не наводила на мысли о смерти, только ...ее герой заговорил о старости – о старости души, бессилии, утомлении, скуке.

«Это произошло в один год», – жалуется Иванов. – Еще в прошлом году я был молод, здоров...» И вдруг...

И вдруг все изменилось. И так быстро. В один год. Это и сам Чехов осознал, что так быстро все изменилось, всего за год. В 26 лет он еще писал Григоровичу о том, что «мне только 26 лет. Вся надежда на будущее». А уже в 27 лет этого безусловного ощущения, что все еще впереди, уже нет, и в 27 лет существование отравляется мыслями о начавшемся увядании и недалекой смерти. И минул всего лишь год, роковой, трагический, сломавший прежнее жизнеощущение и повлиявший на все – мировоззрение, творчество, здоровье, личную жизнь и счастье и, в конце концов, на судьбу.

Год, когда небо над его головою стало закрываться тучами.

Вмешалась ли тут в жизнь Чехова болезнь и первое ее трагическое осознание? Очень даже вероятно. Биограф Чехова А. Измайлов определенно устанавливает: именно в 1886 году было сильное и опасное кровохарканье, когда у него горлом шла кровь несколько дней. Чехов ощущал себя приговоренным. «Судьба приговорила к смертной казни», «Я отравлен этими новыми мыслями», «Мое положение представляется мне таким ужасным», – жалуется его герой, старый профессор Николай Степанович из рассказа «Скучная история», написанной в 1889 году.

Это Чехов пишет о себе. Вероятно, именно на стыке 1886—1887 годов он пережил сильнейший страх смерти, и мысли о смерти начали жалить его уже остро и больно, «как москиты», по выражению профессора Николая Степановича из «Скучной истории». Притом, Чехов как раз вступил в тот возраст, когда молодой человек впервые осознает и глубоко переживает утрату молодости, этот возрастной перелом, и время первых острых и глубоких мыслей о смерти, – у кого-то из писателей это происходит раньше, у кого-то чуть позже. Именно это осознанное представление о смерти как будущего (и затем вечного) небытия, – поражает в этом возрасте остро и глубоко. Еще эта мысль непривычна, еще не срослась с сознанием, которое мучительно протестует. Эта мысль-ощущение – еще такая лишняя, чуждая в молодом здоровом теле. И тогда в молодом человеке рождается вопль: «Не хочу умирать!» Вот так

и рождаются предпосылки «Скучной истории», в которой слышен вопль о смерти не старого, а именно молодого человека, впервые по-настоящему ею ужаснувшегося. Постаревший Чехов писал о смерти более спокойно и хладнокровно.

Чехов, как и большинство впечатлительных людей, глубоко и остро переживал утрату молодости. Он, быть может, переживал это острее других потому, что прожил ее не так, как хотел, и не так, как свойственно молодости – без любви. У нее, молодости, были неоспоримые права на любовь и счастье, на женитьбу по любви. Этот, 1887 год, был годом крушения его молодости, когда он резко и остро осознал, что он уже не будет больше молодым. Никогда! Молодость, вдруг понял он, пролетела быстро, без следа, а главное, без любви. А он подступал к 30-ти годам, – тому порогу, за которым, по его меркам, начиналась уже старость. И он вдруг увидел ее – отвратительную, безобразную, беспощадную к именам, славе, богатству. А он, по большому счету, ведь еще не жил, не любил, только трудился, как проклятый, а тут еще болезнь вдруг грубо напомнила о себе, страшная, жуткая; она уже коснулась его, и смерть преждевременная и неумолимая, совсем уже не казалась шуткой или чем-то страшно далеким. Она дала знать о скором, быть может, конце жизненного срока. Преждевременном конце. И Чехов вдруг каким-то новым зрением явственно увидел, ощутил другой, противоположный конец жизни – смерть и предшествующую ей старость, признаки которой он явственно ощутил в себе, в своей душе. И ужас охватил его.

В этот короткий отрезок его жизни – всего два года – 1887—89 гг. вместились очень многое, точно Чехов прожил целую жизнь. В этом отрезке молодость, такая еще близкая и не отгоревшая, еще сверкавшая юмором, веселостью и шуточными рассказами, граничила с близкой и пугающей старостью; ощущение, что все у него еще впереди, надежды, которыми он жил, вдруг («в один год») сменились разочарованием в жизни; надежда и вера в жизнь сменились горечью. Именно в эти годы (1887—89 гг.) он много думает о старости и смерти – и именно ранних, преждевременных. «Верочка», «Иванов», «Рассказ неизвестного человека» (этот рассказ был начат в 1888 году, но Чехов его бросил по цензурным соображениям, возвратившись к нему лишь в 1892 году). А еще прежде – «На пути».

И мысль о смерти ужаснула чеховского героя, еще совсем молодого человека. Но сначала ужаснула мысль о старости. Он потрясен этим открытием. Новое состояние целиком захватило его! До сих пор старость была где-то далеко от него, он описывал ее со стороны, как симптом, как факт, который происходил с кем-то другим. А ведь старость и смерть ходят рядом.

Первые чеховские рассказы о старости и смерти – это еще не аналитические рассказы, не трогающие глубины жизни; это зарисовки. Да и трудно было бы ожидать этого от молодого человека. Из первых *рассказов о старости и смерти, написанных им в молодости, самые тяжелые и безнадежные – «Нахлебники» и «Скука жизни»*. Это жестокие вещи. Вообще смертей в его рассказах той поры много. Смерть ходит рядом, но молодого человека по имени Антон Чехов она еще не задевает остро и глубоко. Его еще не коснулось. Смерть косит других и угрожает другим. Смерть в этих рассказах – лишь факт бытия, попадающий в поле зрения молодого человека, наряду с другими фактами.

Затем уже появляется «философия», это когда смерть соотносится со старостью. Смерть страшна, ужасна, но она – миг. Заболел и умер, как мог, например, умереть поручик Климов из рассказа «Тиф». Уснул, впал в забытие, в горячую беспомысленность – и не проснулся. Но поручик, к счастью, выздоровел. Зато умерла сестра Катя.

Да, смерть страшна, ужасна, но она – лишь миг. Но между этим мигом будущего небытия и той молодой, здоровой, зрелой жизнью есть отвратительное, длинное бремя... бремя жизни – старость. Это уже время как бы не жизни, но еще и не смерти. И что лучше – неизвестно. Жить как старик из «Нахлебников» и томиться, а затем от безнадежности подставить лоб под кувалду и упасть замертво под ее ударом, подобно забиваемой скотине.

Читатель выносит из этого рассказа отвращение к старости.

И самое ужасное, что это скучное, отвратительное бремя наступает сразу же за порогом молодости, точно переступаешь некий порог... уютного, благополучного дома, за которым начинаются несчастья. У Чехова нет полутонув, у него во временном ощущении нет перехода, нет, так сказать, возраста расцвета и зрелости. Кончается молодость – а затем сразу же наступает ничто или почти ничто. И вот старость и возможная смерть своим дыханием коснулась и самого Чехова, и его молодых героев. И немолодых тоже. Его герои, совсем еще далекие от старости люди, осознав это первое расставание с молодостью, всего лишь шагнув к 30-ти годам (или чуть более), в ужасе от этого открытия. Молодые люди начинают нагнетать это ощущение, впадают в панику, заведомо записываются в старики. Все – жизнь кончена, думают они, остается только доживать. *Впереди – ничто, только гнусная старость и смерть, причем, старость даже еще хуже смерти. Не столько смерть страшна, сколько эта проклятая, неизбежная старость, которую надо будет как-то прожить – это ужаснейшее бремя и отвратительнейшее время. Чем его заполнить? Что утешит?*

Старость уже на пороге, а они еще не любили, не были, как следует, обласканы и любимы женщиной. Они еще только мечтали о любви, только лелеяли в воображении эту желанную женщину, еще только видели ее в своих грезах. Они еще *не познали вкуса счастья, восторга любить и быть любимым – как это ужасно!* И в 1887—1889 годах, и в дальнейшем творчестве все герои Чехова в ужасе от грядущей старости. А надо сказать, что по самоощущению 30-летний Чехов значительно старше своих сверстников-писателей, быть может, даже вдвое старше себя. Его Лаптев чувствует себя старым в 34 года для чистой, поэтической любви, герой рассказа «На пути» в 42 года – старик. Впереди у него, он это сознает – старость, «собачья старость». Иванов чувствует себя человеком отжившим, «конченным» в 35 лет. Войницкий в 47 лет – считает себя законченным стариком. И его приятель Астров его в этом убеждает. Огнев – «старик» уже в 29 лет. *Все герои Чехова, в сущности, одинаковы в этом ощущении. Старость, что называется, уже на носу, а любви, счастья еще не было. Какая ужасная несправедливость жизни!*

И откуда этот куцый предел в возрасте? Почему дни молодости Антона были так коротки? Чехов вполне всерьез считал, что 40 лет – это уже старость. Ведь его предки – долгожители. Мать прожила 84 года, отец – 73, да и то прожил бы больше, если бы не схватил, надорвавшись, грыжу. Дед по отцу – 81 год. Сестра Мария – 94 года. У Чеховых были прекрасные гены. Да и такого ощущения собственного возраста не было ни у кого из его писателей-современников. Толстой, Бунин – просто богатыри против него. Бунин и в 40 лет был молод, всегда влюблен в кого-нибудь, всегда настроен на любовь, даже на мимолетную, готов был откликнуться на женское мимолетное чувство. И вряд ли он много изменился даже тогда, когда революция вытолкала его из России. А ему уже было 50 лет. И впереди у него была еще целая жизнь. Чехов и Гоголь в 40 лет и Толстой и Бунин в 40 лет – несоизмеримые величины. Первые уже доживают жизнь, а вторые еще набирают жизненную высоту, еще и не достигли ее пика.

А затем пишется «Скучная история» – как этого периода, итог размышлений о старости и смерти. В ней в герои берется 62-летний старик-профессор – знаменитый ученый, в которого Чехов вложил весь свой страх и ужас перед грядущей старостью и смертью. «Из записок старого человека», – дает он подзаголовок своей «Скучной истории». Не записки профессора, а именно – записки старого человека.

В «Скучной истории» старость описана беспощадно, безжалостно, не просто без всяких иллюзий, но и без всякой малейшей надежды. Но тут важно понять, что эта оценка старости дана именно молодым еще человеком, ужаснувшимся ее, напрочь зачеркнувшим ее, испугавшимся ее. Анализ старости, предпринятый Чеховым, которому еще не было и тридцати лет, камня на камне не оставляет от того, что граничит со смертью и дышит ею; старость безобразна в видении этого молодого человека и он описывает ее с отвращением, с полным отрицанием,

не оставляя старости ничего, никакой отдушины. Описана именно молодым человеком, ибо она (старость) дана не как итог жизни, не как естественное состояние, а дана как грядущее проклятие человека, откуда только один шаг – в могилу. Это не та страна, куда надо плыть! Это был страх еще не до конца отгоревшей молодости, но уже тронутый признаками увядания перед этим грядущим разрушением. «Скучная история» – именно страх молодости, увидевшей вдруг противоположный конец жизни. Этот страх перед смертью Чехов вложил в своего профессора Николая Степановича: «Стоя в аудитории на кафедре мне хочется прокричать громким голосом, что меня, знаменитого человека, судьба приговорила к смертной казни»... «Я хочу прокричать, что я отравлен; новые мысли, каких не знал я раньше, отравили последние дни моей жизни и продолжают жалить мой мозг, как москиты. И в это время мое положение представляется мне таким ужасным, что мне хочется, чтобы все мои слушатели ужаснулись, вскочили с мест и в паническом страхе, с отчаянным криком бросились к выходу»...

Это Антон Чехов вопит в ужасе, прячась в образе Николая Степановича. Действительно старый человек, достигший 60-летнего возраста (полная старость и конец, по Чехову), не может сказать о себе, что судьба приговорила его к смертной казни (неизбежной смерти), даже если он и болен. Старый человек, прожив немало времени достигнув 60-70-летнего возраста, то есть естественной старости, проходя все этапы старения и привыкания и к своему старению, и к своему состоянию, к возрасту, не может вопить в таком ужасе, как вопит Николай Степанович о том, что он скоро умрет. Это вопль еще молодого, повторяю, человека, это ощущения молодого человека, которого ужасает смерть и, прежде всего, – смерть преждевременная, от болезни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.